

Ю. Лугин

Мое
облако —
справа

Киноповести

Ю. Лугин

Мое облако – справа. Киноповести

«Издательские решения»

Лугин Ю.

Мое облако – справа. Киноповести / Ю. Лугин — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-850957-5

ГОРЕЛ (тыловая драма):Лауреат Конкурса «Факел памяти—2015»Золотой диплом МФК «Золотой витязь—2016»Лауреат 2 степени Премии им. А. Куприна — 2016лонг-лист Премии им. С. Михалкова — 2016ПАРЕНЬ ИЗ БАРМЕНКИ:лауреат 2 степени Конкурса «Ремарка—2014»лауреат 2 степени Фестиваля «Калейдоскоп XXI—2016»МОЕ ОБЛАКО — СПРАВА:рекомендовано для постановки в театрах России по результатам Конкурса «Армия России: Война и мир—2014»

ISBN 978-5-44-850957-5

© Лугин Ю.
© Издательские решения

Содержание

Горел	6
1	6
2	8
3	9
5	12
6	16
7	20
8	26
9	31
10	32
11	34
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Мое облако – справа Киноповести

Ю. Лугин

© Ю. Лугин, 2017

ISBN 978-5-4485-0957-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Горел

памяти Н.П.Наумова

1

Забавно наблюдать за скворцами, когда они кормят своих птенцов. Особенно через полевой бинокль, как это делает унтерштурмфюрер Клозе, с комфортом развалившись на теплом капоте бронетранспортера. Через оптику отлично видно круглый леток скворечника и в нем широко раскрытые желтые клювы, в которые заботливые родители только поспевают запикивать всякую мелкую живность. Под слегка хрипловатое звучание арии Сольвейг из оперы «Пер Гюнт» с пластинки на патефоне все это способно вызвать умиление и в самом зачерствелом солдатском сердце. А на то, что синее небо постепенно все сильнее и сильнее затуманивается клубами черного дыма, на фоне волшебной музыки Грига можно не обращать внимания.

Ощущение идиллии смазывается, когда запись заканчивается. Потому что теперь слышны выстрелы, крики и треск горящего дерева.

Клозе недовольно морщится.

– Хашке! – кричит он по-немецки денщику. – Поставь еще раз! Да смотри, осторожнее!

– Не извольте беспокоиться, герр унтерштурмфюрер! – по-немецки отвечает денщик, типичный бывший студент-очкарик и, подкрутив пружину патефона, осторожно опускает иглу на пластинку.

Сладкоголосая Сольвейг поет снова, и снова над скворечником мечутся скворцы, но небо уже затянуто черным дымом, выстрелов становится больше и они слышнее.

Унтерштурмфюрер отрывается от бинокля и смотрит на часы.

На центральную площадь деревни рядом с добротным домом на каменном фундаменте выходят штурманн-огнеметчик и три автоматчика. Лица у всех закопченные, веселые. Парни только что закончили тяжелую работу – а это уже радует, к тому же они молоды, здоровы и уверены в себе. Один из автоматчиков смеха ради даже повязал поверх форменного кепи нарядный женский платок, где на зеленом поле яркими пятнами цветут красные и желтые розы.

Огнеметчик, оперевшись спиной о борт «ганомага», достает пачку сигарет и угощает автоматчиков. Прикуривает сам от раструба огнемета и дает прикурить товарищам.

С водительского места за сигаретой тянется шофер.

– Тогда и мне, Клаус!

Клаус встряхивает пачкой и протягивает ее шоферу.

На площадь выходят еще четверо солдат.

– Налетай, камрады, Клаус угощает! – кричит им шутник в женском платке.

Через минуту, кроме унтерштурмфюрера и Хашке, курят все, обмениваясь репликами и шутками, как это бывает в любой мужской компании:

– У Клауса приступ щедрости!

– Нет, он сегодня не Клаус, а Weihnachtsmann, Санкт-Николаус!

– Просто он не такой жадный, как ты, Петер!

– Не клеветайте на Петера, – заступает за боевого товарища щедрый Клаус. – Когда придет время его отпуска, он раздаст не пачку, а пачку и еще две сигареты сверху.

– Счастливчик Клаус – через несколько дней он будет пить пиво в Фатерлянде!

– Не завидуйте, друзья, за каждого из вас я выпью по пять кружек пива. Обещаю!

– Не забудь передать привет моей жене, земляк! И привезти от нее посылку. Только за меня мою Гретхен обнимать не надо! – смеется шутник.

– Не беспокойся, Ганс, моя Марта обнимается гораздо лучше!

– О да. Клаус прав, и я тому свидетель: Марта – чемпион по обниманию. И хотя во многом другом моя Гретхен даст Марте фору, пусть в качестве приза этот платок достанется подруге Клауса. Как подарок от всех нас.

Камрады одобрительно шумят, Ганс снимает платок, аккуратно сворачивает его и, по-рыцарски преклонив колено, протягивает огнеметчику.

– Dankeschön, – говорит щедрый Клаус, но забирать платок не торопится. – Я приму ваш подарок, друзья, если он не полиняет, когда Ганс отмоег его от крови!

Ганс с сожалением отбрасывает платок в сторону.

– Он обязательно полиняет – крови слишком много. Лучше я подарю Марте что-нибудь другое.

Унтерштурмфюрер Клозе снова смотрит на часы.

– Парни Рейнара еще не закончили?

– У Рейнара был запасной баллон. Не в его правилах делать работу наполовину.

Унтерштурмфюрер, подумав, приказывает:

– Поехали! Нам как раз в ту сторону.

Двое автоматчиков садятся за руль мотоциклов, остальные грузятся в «ганомаг».

Клозе садится в коляску первого мотоцикла, Хашке с патефоном – в коляску второго.

Из патефона на вытянутых руках Хашке звучит известная песенка про коричневый лесной орех.

«Ганомаг» трогается первым, но останавливается, потому что на площади появляются трое автоматчиков и Рейнар.

– Хотели уехать без нас? – ворчит Рейнар, снимая с плеч ранец огнемета.

У щедрого Клауса в предвкушении отпуска отличное настроение.

– Если бы без вас, мне не пришлось бы поджимать ноги, как кузнечнику, в тесном кузове, – говорит он со смехом и помогает Рейнару подняться. – У тебя в баллоне что-нибудь осталось?

– Примерно четверть.

Клаус хлопает водителя по плечу:

– Не глуши мотор, Шульц, я быстро! – и спрыгивает на землю, прихватив с собой огнемет Рейнара.

– Что там еще у вас, ефрейтор? – раздраженно кричит Клозе.

– Прошу прощения, унтерштурмфюрер! Я чуть не забыл про этот дом. Мы не стали его жечь, чтобы было, где поставить технику. А сейчас – последний салют в честь моего отпуска!

Клаус пинком разбивает стекло в подвальном окне дома и направляет в него долгую струю пламени, сжигая оставшееся горючее до последней капли.

Скворцы-родители испуганно шарахаются прочь от скворечника, и словно бы их глазами сверху мы видим движение немецкой колонны, горящие дома и неподвижные тела рядом – большей частью женщин и стариков.

Скворцы поднимаются все выше и выше, а «*Schwarzbraun*» звучит все громче и бравурнее:

Schwarzbraun ist die Haselnuss,
Schwarzbraun bin auch ich, bin auuch ich.
Schwarzbraun muss mein Madel sein
Gerade so wie ich.

Duvi du duvi di ha ha ha!
Duvi du duvi di ha ha ha
Duvi du duvi di...

2

Узкая улочка на окраине леспромхозовского поселка где-то на среднем Урале.

На восточном горизонте фиолетовый свет переходит в ультрамариновый с оттенком алого, утоптаный снег искрится, отражая свет ущербной луны, и в целом картинка пробуждает в памяти известную строчку классика: «Тиха украинская ночь, прозрачно небо, звезды блещут». Разве что «украинская» в ней заменить на «уральская» и время действия перенести с летнего на начало марта.

Впрочем, «ночь тиха» довольно относительно. Отчетливо хрустит ледок на замерзших под утро лужах под ногами Василия Петровича Тулайкина, двадцатидвухлетнего директора Усть-Канорского Детского дома, бывшего лейтенанта, и далеко разносится песенка, которую он напевает:

В одном городе жила парочка,
Он был шофер, она – счетовод,
И была у них дочка Аллочка,
И пошёл ей тринадцатый год...

То, что товарищ бывший лейтенант поет, характеризует его как человека энергичного, умеющего сочетать молодой задор с целеустремленностью и уверенностью в будущем. Несмотря на то, что в правом рукаве его овчинного полушубка вместо руки культия чуть выше локтя, и потому что идет весна 1945-го года.

Трехэтажное каменное здание Детского дома-интерната стоит чуть на отшибе от линий жилых домов, рядом с двухэтажным бревенчатым зданием, в котором сейчас располагается Усть-Канорская школа-семилетка, и Тулайкину на дорогу через пустырь как раз хватает второго куплета песни:

Началась война – мужа в армию.
Он с вещами пошёл на вокзал.
Он простился с ней, с женой верною
И такое ей слово сказал:
«Я иду на фронт биться с немцами,
И тебя я иду защищать,
А ты жди меня и будь верная,
Обещайся почаще писать...»

Последние слова он допевает уже на крылечке, оббивая сапоги от снега, и открывает дверь.

3

Небольшое помещение, что-то вроде приемной, но вместо стульев – обычная деревенская лавка, накрытая домотканым половиком, слева лестница на второй этаж, напротив входа дверь в кабинет директора.

– Утро доброе, Иван Иванович! – жизнерадостно и громогласно кричит Тулайкин, едва переступив порог. – Как спалось на рабочем месте?

– Скажете тоже, «спалось», – добродушно ворчит согнувшийся перед распахнутой дверцей печки шестидесятипятилетний Иваныч. – Мы службу знаем. Обход после отбоя, в два часа и в пять утра, как положено. Опять же печку протопить к приходу начальства...

– И это правильно, – изволит молвить Тулайкин басом, но изображать начальство у него плохо получается. Ловко управляясь одной рукой, он снимает полушубок и приспособливает его на деревянной вешалке справа от двери. – Ладно, шучу! Не обижайся, Иваныч. Завхоз ты правильный. Да и сторож из тебя так, ничего себе...

– Все бы вам балагурить, Василий Петрович. Директор как-никак, а чисто пацан, ей богу!

Тулайкин подмигивает собственному отражению в мутном квадратном зеркале, прикрепленном к стене рядом с вешалкой.

– Я еще вырасту. Наберусь ума-опыта – будете у меня строем ходить!

В недрах печки с веселым гулом шумит разгоревшийся огонь, довольный Иваныч закрывает дверцу и поднимается с колен.

– Ну, доброго вам дня, Василий Петрович, – говорит он, надевает ватник и ушанку, но у порога останавливается, будто бы только сейчас вспомнив: – Ах, да... Не пугайтесь: в кабинете у вас... того... Постоялец, в общем.

– Какой такой постоялец? – удивляется Тулайкин.

– С поезда, что в третьем часу на Орулиху прошел. Не сомневайтесь, документы я проверил: все в ажуре. Военный билет, направление от РайОНО. А куда ночь... Короче, я его в вашем кабинете расположил.

– И правильно. Направление от РайОНО, говоришь? – Тулайкин складывает руки на манер молящегося католика и смотрит на потолок. – Неужели это тот, о ком я подумал?!

– Про «в распоряжение директора Усть-Канорского Детского дома» я запомнил, а вот в качестве кого, проглядел почему-то, – оправдывается завхоз, но по хитрому прищурю его кержацких глаз лишь тупой не догадается, что насчет «проглядел» он нагло врет, абы еще сильнее заинтриговать начальство.

Далеко не тупой Тулайкин торопливо выпроваживает интригана:

– Все, ступай уже, да и я пойду... с постояльцем знакомиться!

Одернув гимнастерку и безрезультатно попытавшись пригладить непокорный вихор на макушке, товарищ директор открывает дверь своего кабинета.

4

Яркий свет, от которого Алевтина зажмуривается...

...и это не тот свет, который включает вошедший в кабинет Тулайкин, а тревожно пульсирующие вспышки красной лампочки над дверью в пилотскую кабину «дугласа» – сигнал на десантирование диверсионной группе из пяти человек. Сидящий напротив Алевтины крепыш-татарин, подавшись вперед, успокаивающе касается ее руки и что-то говорит, но сказанное им заглушает шум моторов. Алевтина кивает и, как это свойственно девушкам в минуты волнения, пытается поправить волосы, скрытые под гладкой кожей десантного шлема, и почему-то долго смотрит на свою левую ладонь...

В открытый люк в угольно черную августовскую ночь она ныряет четвертой после крепьша-татарина, секунд десять несется вниз, пока стропы парашюта не дергают ее за плечи и не замедляют падение.

Приближаясь к земле, она пересчитывает едва различимые на фоне звездного неба белые купола, видит внизу треугольник сигнальных костров и почти успокаивается. Вдруг к затухающему вдали шуму авиамоторов добавляется резкий винтовочный выстрел где-то там, внизу, которому вторят лающие автоматные очереди. Уже все понимая, Алевтина с ужасом пытается оттянуть стропами парашют в сторону. Поздно – снизу четырем переkreщивающимися лучами бьют в небо мощные прожектора, отыскивая парашютистов одного за другим, и тогда к ним от земли тянутся бегущие пунктиры трассирующих пуль. Наконец один из прожекторов «цепляется» за Алевтину...

...только это уже не прожектор, а лампочка на потолке, которую включает вошедший в кабинет Тулайкин.

Убранство кабинета самое неприятельное. Ничего лишнего. Простой канцелярский стол с чернильницей и кипой бумаг, табурет для директора и два обыкновенных кухонных стула для посетителей. Рядом с дверью половина круглой печки, которую с той стороны растапливал Иваныч. Окна с простыми занавесками покрыты толстым слоем изморози. Над столом вырезанный из газеты портрет Вождя, чуть ниже и сбоку – карта с флажками, обозначающими линию фронта. Справа от стола и напротив окна облезлый кожаный диванчик, на котором, укрывшись шинелью с головой, спит Алевтина. То есть это мы знаем, что на диванчике спит Алевтина, бывший радист диверсионно-разведывательной группы; Тулайкин же видит только шинель с тремя звездочками и ноги в офицерских галифе.

– Подъем, товарищ старший лейтенант! – негромко командует он.

– Даже командующий фронтом не имеет права войти в женское помещение воинской части и приказ на подъем отдает через дневальную, – отвечает из-под шинели Алевтина. – После чего ждет на крыльчке. Плохо устав знаете, товарищ лейтенант?

От слов девушки у товарища лейтенанта округляются глаза.

– Ничего себе! Не постоялец, оказывается, а постоянлица? Прошу прощения, виноват. А насчет устава... Ну, Иваныч!

Алевтина садится, укрываясь шинелью до плеч.

– Не виноват Иваныч. Не разглядел впотьмах, да и метель. Офицер и офицер.

– Все равно. Попадет теперь Иванычу – я начальство или кто? Заставлю уставы учить. И гарнизонной службы, и постовой, и оккупационной...

– А как насчет крыльчка, товарищ Тулайкин?

– Нетушки, на крыльце холодно! Я лучше отвернусь.

Тулайкин разворачивается на каблуках, словно бы напоказ выполняя армейскую команду «Кру-гом!»

Алевтина откидывает шинель и торопливо натягивает гимнастерку, управляясь одной правой рукой – на левой вместо ладони у нее протез в черной перчатке.

– Уже можно, – говорит она, вставая.

Тулайкин снова делает поворот «Кругом!» и, застыв на месте, смотрит на левую руку Алевтины.

Алевтина, поскольку не она это первая начала, по-уставному вытягивается по стойке «Смирно!» в полном соответствии с известным указом Петра I от девятого декабря 1709-го года, согласно которому подчиненный «перед начальствующим должен имеет вид лихой и слегка придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство», и докладывает:

– Товарищ лейтенант, разрешите доложить: старший лейтенант Донатович в ваше распоряжение прибыла! И даже разбужена и построена.

Тулайкин, не в силах отвести взгляд от черного протеза на ее левой руке, непроизвольно касается своего увечного предплечья и отвечает не сразу...

5

– Товарищ подполковник, разрешите доложить: лейтенант Тулайкин к месту прохождения дальнейшей службы прибыл!

В новенькой необмятой шинели с двумя кубарями в петлицах Тулайкин по-уставному отдает честь угрюмому подполковнику с черными провалами вокруг воспаленных от недосыпа глаз. Из-за низкого потолка в землянке свежее испеченному лейтенанту приходится смешно вытягивать вперед голову на худой и по-мальчишески длинной шее, но четкий отработанный жест, которым он «берет под козырек» *правой* рукой, безупречен и мог бы удовлетворить самого взыскательного командира-строевика в мирном тридцать восьмом году. Но сейчас в календаре начало декабря 1942 года и самый разгар Второго Ржевско-Сычѳвского наступления, поэтому подполковника навыки Тулайкина в строевой подготовке не впечатляют.

– Прибыл, говоришь? – не вставая, подполковник берет документы лейтенанта и, не глядя, передает их замполиту. Тот, поправив очки, заглядывает в командировочное удостоверение и утвердительно кивает.

– И ведь что удивительно, нашел, куда надо, не заблудился в темноте... – подполковник вздыхает.

– А я везучий, товарищ подполковник! – с пацанским задором говорит Тулайкин.

– Везучий, говоришь? Завтра поглядим, какой ты везучий... А пока примешь взвод в роте капитана Семенова – по линии окопов из блиндажа налево и, не доходя, упрешься в его НП. С бойцами познакомишься, а там все просто: через два часа артподготовка, а после по двум зеленым ракетам – в атаку. Продаттестат и табельное оружие получишь завтра, если... – подполковник опускает глаза и после короткой паузы отстегивает с себя кобуру. – Возьми пока мой ТТ. Пообещай, что вернешь, везучий! – последние слова подполковник выкрикивает с каким-то странным надрывом.

– Обещаю, – говорит Тулайкин и широко улыбается. – Я не только везучий, но и ответственный.

– Послушай, везучий и ответственный, – вмешивается замполит. – А что у тебя за шпакетовский чемодан такой огромный?

– Это не чемодан, товарищ майор. Это футляр для аккордеона. Я его для удобства мешковинай обернул и ляжки приделал, чтобы за спиной носить.

– А в футляре что, если не секрет?

– Как что? Аккордеон, – Тулайкин, выпучив глаза, преданно «ест глазами начальство». Напряжения мышц для этого выпучивания оказывается достаточным, чтобы губы не разъехались в улыбку, которая начальству вряд ли бы понравилась.

Тем не менее, даже такой ответ раздражает замполита:

– Аккордеон?! Послушай, лейтенант, а ты боевой батальон с ансамблем песни и пляски не перепутал?

– Никак нет, товарищ майор. Наоборот.

– Что значит наоборот?

– В ансамбль песни и пляски меня хотели после училища направить, только я отказался.

– Вообще-то приказы не обсуждаются...

– Так точно, товарищ майор, но у меня получилось!

Подполковник смеется и жестом останавливает замполита, уже надувшего грудь для грозного разноса обнаглевшему лейтенантику.

– Оставь его, Матвей Исаевич, не придирайся к парню. Завтра после боя поговорите. Если будет о чём.

«И с кем», – думает замполит.

- Разрешите идти, товарищ подполковник? – говорит Тулайкин.
- Ступай!

Тулайкин все тем же лихим взмахом правой руки отдает честь, поднимает с земляного пола футляр с аккордеоном, делает шаг назад, в темноту...

...и оказывается в своем директорском кабинете Усть-Канорского детского дома и школы-интерната в начале марта 1945-го года.

– Во-первых, не «товарищ лейтенант», а бывший товарищ лейтенант, – соблюдать субординацию в разговоре с симпатичной девушкой Тулайкину явно не хочется. Тем более что девушка старше его по званию.

– Товарищ бывший лейтенант, разрешите доложить: бывший старший лейтенант Донатович...

– Да вижу, что прибыли. Разбуженная и построенная... Есть предложение. Зовите меня просто Васей.

– Не слишком ли вы... торопите события, товарищ бывший лейтенант?

– А вы мне сразу понравились. Извините за простоту и не считите за наглость, но между нами... – Тулайкин касается предплечья правой руки, – много общего.

– Если вы намекаете на... – Алевтина кивает на свой протез, — то вы, Василий, бестактный грубиян. Извините за прямоту и не считите за грубость.

– Извиняться вам не за что, я действительно грубиян, – соглашается Тулайкин. – Бестактный такой... Никогда не говорил девушкам комплименты. До войны не успел, а здесь некому. Но интуиция мне подсказывает: мы действительно родственные души.

– Интуиция или богатое воображение?

– Богатое воображение мне нашептывает нечто другое. И ведь, что характерно, каждый день и не по разу. Мол, а не пора ли тебе остепениться, дружок? Влюбиться и жениться?

Алевтина хочет что-то сказать, но, не выдержав, улыбается. Потом, вздохнув, садится за стол и достает из офицерского планшета документы.

– Классно обменялись любезностями, Вася. Перейдем к делу?

– Чуть позже, – Тулайкин вынимает из под сумки для противогаза упакованный в газету сверток, кладет его на стол, из внутреннего ящика стола достает самодельный нож, обмотанный снизу черной просмоленной изоляцией, мутный граненый стакан, солдатскую кружку и заварочный фарфоровый чайник – весь в мелких трещинках и со сколотым на конце носиком. – Сначала чаю попьем. Кстати, умыться не хотите ли?

– Мечтаю! А то разбуженная, построенная, да только неумытая.

Тулайкин накрывает стол чистой газетой, насыпает в чайник заварку.

– Пока умывается, и чай заварится. Чай у нас не хуже настоящего. Таежная смесь: зверобой, мята, медуница и все такое. А документы давайте – прямо сейчас приказ о зачислении напишу. Вы ведь наш новый историк?

– Было дело под Полтавой.

– Под Полтавой? Не припомню, чтобы в сводках...

– В смысле, три курса Ленинградского педагогического. Извините, товарищ директор, но... вы что, юмора не понимаете?

– Во-первых, не товарищ директор и даже не Василий Петрович, а просто Вася. Во-вторых, про сводки – это я пошутил. А в-третьих, полотенце чистое в шкафу рядом с умывальником, а умывальник у нас...

– Знаю. Почему-то вода в нем быстро закончилась.

– Умывальник всегда полный, – Тулайкин пристально смотрит на Алевтину. – Вы историк, точно! Никаких сомнений.

– Во-первых, не «вы», а «ты» и Алевтина. В неофициальной обстановке. А во-вторых, я, между прочим, и учительницей русского могу, и даже немецкий знаю.

– Языковеды у нас есть. Нам историка и физика не хватало. А поскольку ты не физик, то, стало быть, историк.

– А вдруг все-таки физик?

– Физик бы догадался лед сверху в умывальнике продавить, чтобы вода из него снизу текла.

– Проницательности вам... то есть тебе, Вася, не занимать! Такого, я бы даже взяла с собой...

– В субботу в поселковый клуб на танцы? – обрадовано перебивает ее Тулайкин быстрой скороговоркой.

– В разведку! — говорит Алевтина уже в дверях.

Тулайкин выходит следом, возвращается с пузатым чайником, который запасливый Иваныч всегда держит на плите, и заваривает чай. С уходом Алевтины напускная веселость с Тулайкина слетает, поморщившись, он массирует предплечье ампутированной руки, садится за стол и рассматривает документы Алевтины.

– Было дело под Полтавой, значит. Целых три курса Педагогического... – Тулайкин остановившимся взглядом смотрит в заледенелое окно...

Небо на востоке перечеркивают одна за другой четыре осветительные ракеты.

– Ч-черт, не успели! – чертыхается капитан Семенов.

Предутренняя зимняя тишина взрывается залпами дальнобойной артиллерии и воем пронсящих над головой снарядов, и через несколько секунд черная линия горизонта на западе освещается багровыми взрывами.

Тулайкин и капитан Семенов стоят перед входом в блиндаж ротного КП.

– Придется тебе самому, лейтенант. Шагай вдоль окопа – пригнувшись, а то какая-нибудь шальная дура в лоб прилетит. Здесь недалеко. Твой взвод крайний – с той стороны холма правый фланг соседнего батальона. На реверансы и по душам поговорить с подчиненными времени у тебя в обрез. Задача одна – поднять и повести. Когда две зеленые ракеты увидишь. Во взводе восемнадцать человек, обстрелянных пятеро, прочие, вроде тебя, новобранцы. Сержант, Семен Стаценко, он из кадровых. Командовать тебе придется, но какую и когда команду орать, ты у него на всякий пожарный спроси. Или шибко гордый, чтобы спрашивать, а, лейтенант?

– Не, не гордый, товарищ капитан. Только не сегодня. Тактическим действиям взвода, роты и батальона во время наступления нас хорошо учили. А вот после боя... – Тулайкин не договаривает.

Семенов, хмыкнув, пристально смотрит Тулайкину в глаза.

– Не гордый, но и не дурак, вижу. Стало быть, все понимаешь? Не страшно?

– Терпимо. Я больше этих, как вы сказали, реверансов боялся. Покажусь или как бойцам авторитетным командиром...

Канонада внезапно смолкает. Капитану это не нравится:

– Рано начали. Как бы не пришлось по темноте...

Артострел возобновляется с еще большей силой.

Семенов с облегчением вздыхает, подтягивает ремень и надевает солдатскую каску поверх шапки-ушанки.

– Надо понимать, снаряды успели подвезти и теперь немчуре больше свинцовых плюх достанется. Ну, бывай, лейтенант!

– Значит, пока не рассветет? – пожимает протянутую Семеновым руку Тулайкин.

– По темноте просто нельзя. Мало снега выпало, чтобы нечаянно не наступить и не споткнуться. На этом поле поверх первого слоя, где наши вперемешку с немцами, наши еще в два слоя лежат. Первые с августа сорок первого, вторые год назад легли, третьи во время летнего наступления... Что-то у тебя, лейтенант рука больно мягкая и нежная. И пальцы как у пианиста!

– Не, пианино у нас в поселке не было. А так я хоть на балалайке, хоть на гитаре, но лучше всего на аккордеоне. Талант музыкальный в детстве не пойми с чего прорезался. Все советовали в Кульпросветучилище после школы поступать. И ведь почти убедили.

– Поступал?

– Не успел. Война началась. Но комсомольское поручение дали – клубом поселковым заведовать.

– И как?

– Больше года заведовал. Кино крутил по субботам и военную кинохронику, книжки в библиотеке выдавал, оркестром народных инструментов руководил. Даже бронь дали – только нынешним летом удалось отбиться. И то не на фронт, а в офицерское училище направили.

Гул канонады начинает стихать.

– Ладно, действительно пора! Если повезет, завтра договорим. Иди уже... библиотекарь! И бандуру свою здесь, в блиндаже оставь – целее будет.

– Нетушки! Я без нее как без рук, – Тулайкин с привычным шиком отдает честь и, согнувшись, бежит по окопу, прижимая к груди футляр с аккордеоном.

6

От воспоминаний Тулайкина отрывает шум за дверью и голос Иваныча:

– Проходи, не задерживайся! Могли озорничать – сумейте и ответ держать!

– Что у тебя, Иваныч? – спрашивает Тулайкин.

Входит Иваныч, толкая перед собой двух взъерошенных тринадцатилетних подростков, которые изо всех сил пыжятся держать вид независимый и наглый. Смотреть на них забавно – этикие молодые петушки, пытающиеся прокукарекать и срывающиеся на цыплячий писк, но, по их пацанскому разумению, именно так должна вести себя крутая уголовная шпана.

Следом, понурившись, входит паренек постарше, лет шестнадцати. Движения его заторможенные, как это свойственно умственно отсталым людям. Голова перевязана платком, и лица почти не видно.

– Принимай фортачей, Василий Петрович! – кивает на первых двоих Иваныч. – В Сабске как раз конвой с малолетками готовят. Если документы вовремя оформить, и этих примут.

– Вот бы научиться документы – вовремя... Кто тут у нас такой провинившийся? Ба, знакомые все лица: Вован и Чимба! – Тулайкин, грозно прищурившись, смотрит на «провинившихся» и широко улыбается, отчего тех начинает слегка потряхивать. – Фортачи, говоришь? Много слямзили? На срок потянет?

– А мы зоны не боимся! – хорохорится Вован. – Отправляй, если получится!

– Только хренушки получится! Мы несовершеннолетние. Без суда и прокурора голый вассер! – поддерживает «кореша» Чимба и сплевывает на пол.

Почти на полминуты в кабинете воцаряется такая тишина, что слышны только приглушенные щелчки метронома в репродукторе.

– Подними, – говорит Тулайкин, указательным пальцем целясь в Чимбу, а потом медленно переводя его на пол. – Подними, а то что-то будет.

Чимба, кусая губы, опускается на корточки и ладошкой вытирает слювок.

– Вот ведь народ, а? – сетует Тулайкин. – Чтобы крутым блатарём выставиться, обязательно плюнуть надо? Вроде как справку предъявить: во какие мы лихие и смелые!

– А по мне так: чем больше в ком дерьма, тем его шибче на чистое наплювать тянет, – говорит Иваныч.

Чимба, опустив голову, зло сопит.

– Докладывай, Иваныч, что случилось, – закончив пафосно сетовать на несовершенство мира, спрашивает Тулайкин у завхоза.

– Дурачьё сопливое! Хлеб воровать! Да на фронте за такое расстрел на месте. Никакого прокурора не надо – свои порвут!

– погоди, Иваныч, я вот тут сижу, гляжу и вижу: смелые у нас ребяташки. И умные: про несовершеннолетних и прокурора знают. Таких на испуг не возьмешь. И мне интересно, с чего бы? Не иначе, подучил кто. И про несовершеннолетних объяснил, – Тулайкин резко повышает голос: – Кто?!

Чимба вздрагивает.

– Конь в пальто, гражданин начальник! – продолжает по-цыплячьи изображать взрослого петуха Вован.

Тулайкин встает из-за стола и дает Вовану подзатыльник. Совсем не больно, а именно так, как любой мужчина на его месте дал бы леща пацану за недостойное поведение и чтобы тот не обиделся. Потому что «за дело».

Но Вован обижается:

– Не имеете права!

Тулайкин хватает Вована за шею и притягивает к себе.

– Отцу бы такое сказал?!

– Ты мне не отец!

– Это ты так думаешь! Вернее, не думаешь, а выкобениваешься. Потому что лучше многих других знаешь, как плохо, когда огольца выпороть некому. Из таких вот... непоротых и вырастают сволочи, которые хлеб у товарищей воруют!

– Никой хлеб мы не воровали!

– Не успели. Я, Василий Петрович, когда от тебя вышел, краешком глаза засёк: кто-то из-за угла дернулся и сразу назад. И еще из-за поворота к хлеборезке услышал: стекла брызнули. Я бегом. Вовремя: этот... – завхоз кивает на Чимбу, – рядом стоял, этого... – кивает на Вована, – я за штаны поймал, когда он наполовину в окошке торчал. Ну а этот... – кивает на третьего подростка, с безучастным видом стоявшего поодаль от первых двух, – сам потом из окошка вылез.

– С хлебом?

– Нет, пустой.

– Уже легче. Титаренкова как раз пришлось бы по полной оформлять. Шестнадцать лет, а что он... немножко того, прокурорских мало волнует.

– Окно-то он разбил.

– Сам видел?

– Эти сказали.

Входит Алевтина, причесанная, умытая, с полотенцем через плечо, и с любопытством рассматривает собравшуюся компанию.

Тулайкин задумчиво прохаживается по кабинету и, пародийно коверкая язык на блатной манер, напевает: «В аднам гораде жила парач-ч-чка, он был шофер, она щитавод...»

Половины куплета ему хватает, чтобы принять решение:

– Зоны, значит, мы не боимся? Ладушки. Иваныч, ты мне завтра с утречка напомни: наказал ли я Трофиму Степановичу, который у нас за стенгазету отвечает, заметку написать. Вот такими буквами! Благодарность Сергуненкову Сереже и Вовочке Вехоткину за проявленную бдительность и *вовремя доставленную* до ушей директора Тулайкина Вэ Пэ *информацию*, благодаря которой было сорвана попытка преступления на вверенном ему объекте.

Перспектива прослыть стукачами Вована и Чимбу не радует, и они испуганно переглядываются.

– Обязательно напомню, Василий Петрович! А можно я про бдительность Сереженьки и Вовочки Митрофановне своей расскажу? И еще кой-кому?

– Обязательно расскажи! Страна должна знать своих героев, – говорит Тулайкин и поворачивается Титаренкову. – А теперь ты, Коля, скажи: зачем ты разбил окно в хлеборезке?

– Там был пожар.

– Пожар? С чего ты взял?

– Кто-то закричал, и я проснулся. Кричали: там пожар и кто-то плачет. Потом я не помню.

– Кто кричал, Коля? Эти? – Тулайкин показывает на Вована и Чимбу.

– Ага, нашли кому верить! – деланно смеется Вован. – Горел – дурачок, он наплетет – недорого возьмет!

– Интересное кино: он уже соврал, чтобы ему не верить? В каком месте и когда?

Вован стушевывается и опускает голову.

– Кто кричал, Коля?

– Я не помню.

Тулайкин садится за стол, барабанит пальцами по столешнице, задумавшись, и вполголоса поет. На этот раз без коверкания слов:

Началась война – мужа в армию.

Он с вещами пошёл на вокзал.
Он простился с ней, с женой верною
И такое ей слово сказал...

– Короче так, Иваныч. Отведешь всех троих к себе в кондейку, дашь работу, чтобы до обеда хватило, кондейку закроешь и ключи – ко мне. Если к обеду управятся, выпущу.

– Понял, Василий Петрович.

– И еще... Ты, Иваныч, извини, что спать после дежурства не даю.

– Да ладно, Василий Петрович, кому сейчас легко? – успокаивает директора завхоз и со словами: – Айда за мной, тунеядцы! – уводит «тунеядцев» из кабинета.

Тулайкин подходит к окну, раскрывает форточку и расстегивает верхнюю пуговицу на гимнастерке.

– Курить хочется по самое не могу. Три месяца, как бросил, а все хочется!

– Крепись, Василий, – Алевтина становится рядом. – Главное, перетерпеть. Я после госпиталя не курю. Уже год без малого. Почти привыкла.

– Тебе легче.

– Да ладно. Не на фронте же!

– А я на фронте не курил. Как раз в госпитале начал. И спирт медицинский, на треть водой разбавленный, между прочим, тоже в госпитале впервые попробовал. Главврач вместо успокоительного прописал. Боялся, что я головой о стенку биться начну из-за этого, – Тулайкин, покосившись на правый пустой рукав, переходит на доверительный и провоцирующий в собеседнице чувство сострадания тон, который традиционно и довольно успешно применяют молодые люди на начальном этапе ухаживания за понравившимися им девушками. – Такие вот дела...

– А после госпиталя у тебя насчет спирта как? – спрашивает Алевтина с беспокойством за моральный облик молодого человека, ничем от большинства девушек на начальном этапе ухаживания за ними не отличаясь.

– Никак. Почти. Разбавлять в нужной кондиции научился и при случае могу... для успокоения нервов, но невкусно и неинтересно.

– Мог бы и курить бросить сразу после госпиталя.

– Хотел, но сразу не получилось. Работа нервная, на износ. Сама видела. В здешние края еще при царском режиме ссылали, а в наше время... Из десяти пацанов семеро уголовниками вырастают. Как подумаю об этом – сразу курить со страшной силой тянет. Одно останавливает: директору над детишками курить зазорно. Директор должен в этом смысле примером быть. С моей подачи у нас никто не курит. Даже Иваныч по укромным углам со своими самокрутками шхерится... Между прочим, чай заварился давно. И даже настоялся!

Тулайкин разворачивает лежащий на столе сверток, расправляет газету, выкладывает на нее четвертинку черного хлеба с тремя кусочками колотого сахара, садится за стол, зажимает культей хлеб и берет в здоровую руку нож. Нож у него Алевтина молча отбирает и становится напротив. Тулайкин, усмехнувшись, придерживает хлеб своей здоровой левой, вовремя сдвигая пальцы, когда своей здоровой правой Алевтина нарезает хлеб аккуратными ломтиками.

– Смотрю я на нас, Алечка, и дико удивляюсь: с двумя-то руками, оказывается, гораздо лучше, чем с одной!

– Кто бы сомневался, Василий!

Оба садятся за стол и пьют чай с хлебом и сахаром вприкуску.

– Интересно, а на аккордеоне у нас сыграть получится?

– Никогда не играла на аккордеоне.

– Я научу. Меха раздвигать – дело нехитрое, а на клавиши нажимать... – Тулайкин показывает, как нажимать на клавиши левой рукой.

– Посмотрим... Слушай, Вася, у меня все тот мальчик из головы не идет. С обожженным лицом.

– Коля Титаренков. Мне, когда его вижу, не только курить, до зубовного скрежета обратно на фронт хочется. Одной левой мразь давить, которая такое с мальчишкой сотворила. Он не рассказывает ничего, все забыл, умом тронулся...

– А с ним... точно немцы?

– Никаких сомнений. Его сюда сопровождающим целый майор из штаба 3-го Прибалтийского фронта привез. Ровно год назад, в середине февраля. Неразговорчивый, но по тому, как молчал, без слов понятно, пацан с освобожденной территории. Откуда-то из-под Гдова.

– Из-под Гдова? И майор с Третьего Прибалтийского?

– А что? Как-то вздрогнула вся...

– Я сама с Третьего Прибалтийского, и вдруг подумала... Впрочем, неважно, о чем подумала. Мало ли что кому показаться может.

– А что показалось, можно спросить?

– Спросить можно, – говорит Алевтина и на несколько секунд выпадает из реальности...

...в затуманенную в ее восприятии красным маревом из-за пульсирующей боли заброшенную деревенскую кузницу, где на дровяных козлах распластано окровавленное тело крепыша-татарина, а стоящий рядом немецкий гауптман с ужасом прислушивается к звучащему издали неестественно тоненькому голосу:

Дуви ду дуви дуви ди ха ха ха!

Дуви ду дуви дуви ди ха ха ха!

7

Обычная подсобка в подвале рачительного завхоза советского детдома военных лет. Под потолком небольшое окно, вдоль стен полки с инструментами и разнокалиберными коробками, в центре верстак. Рядом с восьмиступенчатой лестницей, ведущей от двери, топчан из трех досок на двух чурбаках. Над дверью прикреплена к стене черная тарелка репродуктора.

Дверь распахивается, и Иваныч проталкивает в подсобку Вована и Чимбу.

– Шагай, шагай, тунеядцы!

– Полегче, дядя! – возмущается Вован.

– И за базаром следи: не тунеядцы, а иждивенцы! – вторит приятелю Чимба. – У государства на иждивении, понял, да?

– Во какой умный! – удивляется Иваныч и передразнивает: – «Понял, да?» Глуздырь пипеточный, а туда же! А ты не спеши, со мной пойдешь, – говорит он Титаренкову, останавливая того на лестнице.

– А чем Горел лучше нас? – возмущается Вован. – На одном скоке спалились – всем и отвечать!

– Еще один глуздырь!

– А чё, в натуре? – кипишится Чимба. – Такой же тунеядец! Ай-я-яй, как не стыдно! Такой большой мальчик, а стекла в хлеборезке разбил!

Титаренков, как пятилетний ребенок, еще ниже опускает голову.

– Я больше не буду.

– Я сказал: Горел со мной пойдет, – повышает голос Иваныч. – У меня для него отдельное задание.

– Василий Петрович сказал здесь работать, – упрямится Горел-Титаренков. Для него слова директора Тулайкина все-таки авторитетнее слов явно расположенного к нему завхоза.

– Ладно, – подумав, говорит Иваныч и командует «глуздырям»: – Спички из карманов! Сами и по-быстрому, пока шмон не устроил!

Вован нехотя отдает Иванычу коробок спичек, а Чимба демонстративно выворачивает пустые карманы.

– И предупреждаю: если с парнем что – ответите!

– Мы малохольных не трогаем, – бессовестно врет Чимба.

– Больных обижать неприято, а он у нас на всю голову больной – и снутри, и снаружи, – паясничает Вован.

– У него, между прочим, голова рукам не помеха. В отличие от некоторых. Прав Петрович: пороть вас надо! Государство кормит, одевает...

– Еще один отец выискался! – говорит Вован.

– А мы и учимся, между прочим! И сейчас учиться должны. А что плохо учимся, так это по способностям. Мамка, чай, не наругает! – говорит Чимба.

– Разгалделись... – Иваныч поднимает с пола и ставит на верстак тяжелый плотницкий ящик. – Короче так, шпана детдомовская! До начала уроков полтора часа. В ящике гвозди гнутые – полдня из поваленного забора у конторы в Орулихе выдирал. Втроем быстро управитесь. Молотки на верстаке. Через час прихожу и удивляюсь: все гвоздики ровненькие, чистенькие...

Чимба демонстративно засовывает руки в карманы.

– А если нет, то чё? Чё ты нам сделаешь?

– Забуду, что вы тут под замком сидите, и спать пойду. После обеда Петрович сам вас выпустит. Если повезет, на кухне еда останется.

– Гад ты, Иваныч!

– Нет, пацаны, – вздыхает Иваныч. – Ругать вас некому, а чтобы людьми выросли...

– Мамы нет. Не наругает, – говорит Горел и, приходя в непонятное возбуждение, начинает метаться по кондейке.

– Во сорвался как наскипидаренный! Мамку ищет! – хохочет Вован и получает очередной подзатыльник. На этот раз от Иваныча.

– Ты чего потерял, Николай?

– Окно!

– Окно как окно.

– Закрывать! А то... – не находя слов, Горел взмахивает руками и изображает губами громкий шипящий звук.

– Если закрыть, придется огонь зажигать, керосин тратить.

Титаренков-Горел резко останавливается.

– Не надо огонь, Иваныч. Не надо окно закрывать, – глухо говорит он, берет молоток, становится у верстака и начинает выпрямлять гвозди.

– А вы чего стоите? – обращается Иваныч к Чимбе и Вовану. – Вперед, стахановцы! Вехоткин за бригадира.

– А чё сразу я? Горел старше – с него и спрос!

– Со всех спрошу!

Иваныч поднимается по лестнице.

– Иваныч, а Иваныч? – окликает его Чимба.

– Ну?

– Ты сына своего часто порол?

– Да не то чтобы очень. Он у меня смысленый был, но приходилось. Помню, привела его раз соседка – он с ребятами у нее крыжовник тырил, вот тогда...

Чимба перебивает:

– Может, поэтому и *был*?

Иваныч вздрагивает.

– Может, и поэтому, – говорит он хриплым, словно бы в приступе астматического удушья голосом. – Я своего Сашку правильным мужиком вырастил. Может, поэтому и погиб. Смертью храбрых.

Иваныч уходит, и слышно, как он возится с ключами с той стороны двери.

– Зря ты так, Чимба, – упрекает Вован приятеля.

– А чё они «отец», «отец», «пороть некому»! И Василий Петрович, и Иваныч. А меня папка никогда не бил! На велосипеде кататься учил, мороженое покупал! – Чимба, шмыгнув носом, отворачивается и начинает раздраженно шариться по полкам.

Короткая пауза.

– Понял, да, урод? – кричит на Горела Вован. – Иваныч с нас спросит, если ты с гвоздями вовремя не управишься!

– Я управлюсь, – отвечает Горел, не отрываясь от работы.

– Ага, давай-давай! По-стахановски, как Иваныч велел. Из-за тебя, уroda, погорели! Иваныч бы ни за что...

– Я горел. Вы нет.

– Слабо было насвистеть, что мы не при делах? Так, мол, и так, в хлеборезку залез по своей дури, а пацаны меня отговаривали, не пускали!

– Он не про хлеборезку. Он про морду свою паленую, – не оборачиваясь, поясняет Чимба,

– В хлеборезке пожара не было, – Горел, не выпуская молотка из рук, пристально смотрит на Вована. – Ты сам про пожар насвистел. Я вспомнил.

– Заложил? Кто тебе поверит – ты же огня боишься! Даром, что ли, Иваныч у нас спички отобрал?

– Ты кричал: там люди. Людям гореть нельзя. Люди не немцы. Немцев здесь нет.

– Сказанул! У немцев три глаза, хвост и рога с копытами, да?

– Немцы не люди. Немцев не жалко.

Вован пытается что-то сказать, но его перебивает Чимба:

– Оп-паньки! Вован, чё я нашел! – и показывает Вовану пачку «Казбека». — Почти целая.

Блин, а Иваныч спички отнял! Щас бы закури-и-ли...

– Хренушки! – Вован выхватывает у Чимбы папиросы и прячет в карман. – Это Комару.

Комар вот-вот с кичи откинется. А мы ему папиросочки!

– А Иваныч не хватился?

– А хватится, скажем: Горел нашел. Горел у нас немножко дурачок, и любой в туфту поверит, будто он папиросы растоптал, пачку – на мелкие кусочки и в окно... Слышь, ты? К тебе, между прочим, обращаются! Иванычу про папиросы настучать запаadlo. Понял, да?

– А он не слышит. Он занят. Ему некогда. Сам говорил: дурачок, а дураков работа любит.

Так ведь, Горел? Чего молчишь?

– Молчание – знак согласия! – смеется Вован.

– Я не дурачок, – говорит бесцветным и лишенным каких бы то ни было эмоций голосом Горел, продолжая стучать молотком.

– Да ладно, не обижайся! – Вован якобы по-дружески бьет Горела по плечу, отчего тот промахивается и очередной гвоздь улетает под стол. – Мы же понимаем: когда тебе огнем фотокарточку так подпортило, немудрено было шарикам за ролики заехать!

Горел вздрагивает.

– Чего остановился? Работай! Пока ты по гвоздикам молоточком тюкаешь, никто и не догадается, что у тебя – шарики за роликами.

– Не надо про огонь, Вован.

– Чё?

– Не надо про огонь.

– А то чё будет?

– Лучше молчи. Я не хочу с тобой разговаривать.

– Зато я хочу! Огонь, огонь, огонь!!! Ну?! Чё ты мне сделаешь? Убьешь?

– Ты хочешь, чтобы я тебя убил? Ты немец?

– Чё ты сказал?! За базаром следи! Какой я тебе немец?! Еще раз меня немцем назовешь, моментом бестолковку отремонтирую!

– Не кричи. Я понял. Ты не немец.

Горел наклоняется, поднимает из-под верстака уроненный гвоздик и вновь принимается за работу.

Но Вована уже понесло:

– Нет, ты теперь за понт свой ответь!

Он так явно провоцирует Горела, что даже Чимба не выдерживает:

– Хорош, Вован! Отвянь от него. Ты его от работы отвлекаешь!

– А чё он нарывается? Напугал, блин! У него мелкие в столовой из-под носа пайку выхватывают, а он только носом шмыгает! Все девчонки над ним смеются – слабак! Ну, давай, морда паленая, рискни здоровьем – еще раз меня напугай! Но так, чтобы я от смеха не обоссался!

– Когда убивают, не смешно. Никому. Ты хочешь, чтобы тебя убили?

– Всё, завязали! – Чимба становится между ними. – Харэ, Вован! И ты, Горел, успокойся, Вовчик пошутил. На шутки не обижаются. И смотри: гвоздиков еще много осталось, а Иваныч вот-вот придет.

– Вован пошутил? – переспрашивает Горел.

– Да скажи ты ему, а то не видишь: совсем распахивался. Того и гляди на пол в припадке шмякнется и изо рта у него пена пойдет. Помнишь, как в тот раз...

– Успокойся, Горел, я пошутил, – нехотя говорит Вован.

- Я помню: на шутки не обижаются. Я не буду больше с вами разговаривать.
Горел берет из ящика новый гвоздь и правит его молотком.
- Ну и мы тебе мешать не будем, – Вован с задумчивым видом глядит на окно под потолком. – Чимба?
- Ну?
- Подсоби малёхо.
- Чимба становится спиной к стене и помогает Вовану забраться с ногами на свои плечи.
- Как там? – кряхтит он от напряжения.
- Щас открою, – кряхтит в ответ Вован. – Давно не трогали, разбухло все...
- Не надо, – говорит Горел.
- Тебя не спросили! Или забыл, что Иванычу говорил? – отвечает Вован, рывком приоткрывая окно.
- Закрывай, холодно, – ежится Чимба. – Да и слезай уже, жирдяй толстозадый!
- Вован, кулаком бьет по оконной раме, пытаясь вернуть ее на место, спрыгивает на землю и возмущается:
- Это я жирдяй?!
– Я пошутил, – широко улыбается Чимба. – Вон и Горел подтвердит.
Горел стучит молотком и не отвечает.
- Ну и что с окном? – спрашивает Чимба.
- Выбраться можно как нефиг делать. Только если ты на ящик встанешь, чтобы мне подтянуться ловчее было. А после я веревку найду и тебя вытащу.
- А на кой?
– Что значит «на кой»?
– Нафига вылезать-то? Все одно от Петровича ныкаться придется, а после он нас еще где-нибудь запрёт.
- Тогда до обеда туточки кантоваться будем...
- И чё?
– Тоже верно. С завтраком все одно пролетели... Может, в буру на чинарики? Чтобы стахановцу не мешать?
- Стахановец один не справится.
– И чё? Помочь хочешь? Чтобы Иваныч нас через час выпустил? – Вован взглядом обшаривает каморку и, заметив топчан, ложится на него. – Или ты фраер, чтобы уроки не прогуливать?
- А ведь точно, блин! Тогда сачканем по полной: нас Вася сам под арест посадил, какая нахрен учеба? – соглашается Чимба и вдруг замечает в руках у Горела гвоздь-сороковку, – Дай сюда! – выхватывает гвоздь, задумчиво вертит его в руках, подходит к верстаку, берет молоток, становится рядом с Горелом и бьет молотком по гвоздю.
- Это ты так сачкуешь? Сам же говорил!
– А это не считается. Подфарти любому пахану на крытой такую гвоздюру надыбать – и ему не впадлу забивахой помахать. Классная заточка получится. Не хуже твоей.
- Покажь!
– На, зырь. Завтра под товарняк леспромхозовский на рельсу подложу, после напильничком пошоркаю, ручку наборную сделаю и...
- Фуфло! Моя всяко круче будет! – Вован достает из-под рубахи заточку, вертит ее в руках и напевает: – «Разве тебе Мурка, было плохо с нами? Разве не хватало барахла? Ты зашухарила всю нашу малину, и перо за это получи!»
- В репродукторе раздается знакомый и памятный по войне сигнал.
- Вован подсказывает с топчана, подходит ближе к лестнице и, призывая к тишине, поднимает вверх руку.

– А ну ша!

Чимба становится рядом, а Горел просто замирает. По его сгорбленной фигуре, замотанному платком лицу не видно, понимает ли он, о чем говорит диктор Левитан по радиотрансляции:

– «От Советского информбюро. В течение 28 февраля юго-западнее Кенигсберга наши войска в результате наступательных боёв заняли населённые пункты Грюнлинде, Воверген, Лемкюнен, Оттен, Готтесгнаде, Фридрихсхоф.

Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, 28 февраля овладели городами Гойштеттин и Прехлау – важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев в Померании, а также с боями заняли более 39 других населенных пунктов и среди них Своррнигац, Гласхютте, Нойгут, Айзенхаммер, Грабау, Гросс-Карценбург, Вурхоф, Шпарзее, Штрайтцих.

В районе Бреслау наши войска вели бои по уничтожению окруженной в городе группировки противника, в ходе которых овладели пригородом Клейне-Чанш, металлургическим заводом «Шварц», газовым заводом и заняли 10 кварталов.

На других участках фронта – поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного значения.

За 27 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 29 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 6 самолётов противника».

На какое-то время в кондейке воцаряется тишина.

Чимба на цыпочках отступает от двери, и когда Вован оборачивается, кидается к топчану и валится на него.

– Хорош борзеть, я первый место занял! – возмущается Вован.

– Нефиг хлебалом щелкать!

Вован присаживается на топчан рядом с Чимбой.

– Сочтемся!

– Подловишь – предьявы не будет... Сдавай уже!

– Чего?

– А кто в буру перекинуться предлагал? – Чимба, сладко потянувшись, смотрит в потолок и напевает:

Сердце, Сердце, тебе не хочется покоя!

Сердце, как хорошо на свете жить...

Вован достает из кармана засаленную колоду самодельных карт, тасует их и подхватывает:

Сердце, как хорошо, что ты такое!

Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить!

...Обшарпанный закопченный потолок кондейки перед глазами Чимбы вдруг голубеет и по нему плывут пушистые, как вата, облака, а знаменитая песня Леонида Утесова звучит ликующим дуэтом на два голоса – мужской и мальчишеский.

Петляя по грунтовой дороге посреди золотого пшеничного поля на велосипеде, распевая во все горло, несутся Сергуненков-отец и подпрыгивающий на раме между его рук перед рулем счастливый семилетний Сергуненков-сын.

Сердце, тебе не хочется покоя!

Сердце, как хорошо на свете жить!
Сердце, как хорошо, что ты такое!
Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить!

– Что с тобой? – трясет за плечо приятеля Вован.

– Да так, ничего, – говорит Чимба и касается век указательным и большим пальцами. –

Соринка в глаз попала...

Он берет в руку веером карты и, криво ухмыльнувшись, запевает совсем другую песню, которую Вован так же легко и быстро подхватывает:

Вечер за решеткой догорает,
Солнце гаснет, словно уголек,
И тихонько песню напевает
На тюремной койке паренек...

Вован и Чимба азартно режутся в карты. Горел стучит молотком...

8

Сказать, что Тулайкин, как-то умудрившийся одной рукой нести перед собой свернутый рулоном полосатый матрац, идет по интернатовскому коридору, – не сказать ничего. Ибо он не идет, а шес-тву-ет. Именно так – важно и неторопливо, снисходительно, но блюдя авторитет, свысока, но с намеком на отеческую нежность взирая директорским оком на вверенный его чуткому наставничеству контингент в лице четвероклассников. Четвероклассники по ходу его движения испуганно лепечут: «Здравствуйте, Василий Петрович!» – прилипают спинами к стенам и почти готовы залезть с ногами на подоконник.

Следом за Тулайкиным, как грузовая баржа в кильватере мощного ледокола, с обычным шерстяным одеялом и стопкой постельного белья движется Алевтина, на которую контингент реагирует более лаконичным «Здрасьте!» – и провожает любопытными взглядами.

Свернув в узкий закуток в конце коридора, Василий открывает ногой обшарпанную дверь и, компенсируя возможное неудовольствие от ее обшарпанности, не выпуская матрац, вытанцовывает перед Алевтиной танец дворецкого перед госпожой под названием: «Милости просим, входите!»

Алевтина входит в комнату. Тулайкин шес-тву-ет следом.

Комната выглядит довольно удручающе, как любое нежилое помещение в учебном учреждении, которому до сих пор не находилось должного применения. Ободранная штукатурка на стенах, грубый деревянный стол. Рядом стул с обломанной спинкой. Старый бельевой шкаф – пустой, с распахнутыми настежь створками, одна из которых висит на одной петле. Куча бумажного мусора в углу – отходов от процесса изготовления стенгазеты. Относительно новым предметом смотрится солдатская кровать с пружинной сеткой.

– Если бы мои желания совпадали с моими возможностями, вместо этого убогого чулана я, Алечка, подарил бы тебе лучший номер в гостинице «Москва»! – говорит Тулайкин.

Алевтина уже начинает привыкать к его манере общения и отвечает соответственно – то есть с иронией и легким кокетством:

– Ты удивительно любезен, Василий! И проницателен: если бы *твои* возможности совпали с *моими* желаниями, на меньшее я бы и не согласилась.

Тулайкин раскатывает матрац на кровати и скептически рассматривает входную дверь.

– Навести порядок, и выйдет очень даже ничего, – утешает его Алевтина. – После блиндажей и госпиталя сразу в гостиничный номер было бы слишком... контрастно, мягко говоря.

– Попрошу Иваныча вставить замок. Странно, есть чем закрываться изнутри. Коряво сделано, но пока с той стороны со всей дури плечом не вмазать, выдержит.

– А что, есть дурные?

– Да не, я тут один такой... – отвечает Тулайкин несколько отстраненно, трогая руками самодельный запор из оконного шпингалета. – Как мы с Иванычем эту чуланку недоглядели?

– Подумаешь, устроили девочки секретную комнату. Ничего страшного и наверняка совсем не то, о чем ты подумал.

– Ты уверена? Слава Богу, а то я уж было подумал...

Алевтина садится на кровать и, заметив что-то за шкафом, привстает и достает из-за его задней стенки тряпичную куклу.

– Видишь? Всего лишь девчоночьи секретки.

– Вообще-то детдомовские в куклы не играют.

– Стесняются. Поэтому кукла здесь, за шкафом, а не в спальне под подушкой.

Тулайкин берет куклу у Алевтины.

– Бензином пахнет. Запах слабый, но чувствуется.

– Вася, да тебе с таким чутьем в разведке цены бы не было!

– Какая разведка? Я и в пехоте-то на фронте меньше суток продержался...
За окном приглушенно и настойчиво сигналит машина.

Тулайкин подходит к окну и тихим блеющим голосом напевает:

– Козлятушки-ребятушки, отворитесь, отопритесь, машина пришла, молочка привезла.
– Молочка?

– И молочка тоже. Американского сгущенного, банок пять, на младшую детдомовскую группу в тридцать человек недельный запас. А кроме молочка, крупу, жмых и масло постное, как обычно... И еще одного паскудного козленочка довеском. Того самого, по фамилии Ахтаров, а по кличке Комар.

– Как ты зло и по-прокурорски.

– Слушай, Аля, не начинай, а? Я же тебе говорил...

– Что значит «не начинай»? И что ты про Ахтарова говорил, я помню. И готова еще раз повторить: так нельзя! Авансом приговорил мальчишку, словно он прожженный злодей. Непедагогично, Вася.

– Вот такой хреновый из меня педагог. Только жизненный опыт мне подсказывает: люди не становятся подлецами нечаянно. Подлость – она в любом возрасте себя покажет. Ахтаров – тот еще гаденыш. Трусливый на самом деле, но это в нем страшнее всего... Ты в своих турпоходах по фрицевским тылам полицаев видела?

– При чем здесь полицаи?

– А если видела, то можешь представить на примере какого-нибудь виденного тобой полицаем, как он в детстве на сверстников ябедничал и над малышами издевался?

– Если бы не война, совсем не обязательно, чтобы такой мальчик стал полицаем. Перебесился бы, попал бы под влияние хороших товарищей и, глядишь, стал бы нормальным рабочим или даже инженером.

– Или счетоводом.

– Или счетоводом!

– А те мальчики, которые под хорошее влияние правильных товарищей попасть не успели, но на немцев с кулаками бросались? Они сейчас где?

– Вот я и говорю: война – дело страшное!

– Ты Комара-Ахтарова еще не видела. А когда увидишь, подумай: получился бы или нет из него полицаем.

– И не подумаю думать! Все равно это непедагогично. И даже нечеловечно!

Машина вновь сигналит.

– Блажен, кто верует... Ладно, извини, слышишь, труба зовет? Устраивайся пока. И морально подготовься по-человечески с козленочком нашим поговорить. Без подготовки, боюсь, не получится!

Тулайкин уходит.

Алевтина вытягивает ноги, замирает и...

...приглушенный расстоянием собачий лай вырывает ее из небытия, потому что у разведчика-диверсанта страх перед собаками вбит в подсознание на уровне рефлекса – бежать, спрятаться или хотя бы успеть приготовиться подороже продать свою жизнь.

Алевтина с трудом открывает глаза, залитые засохшей кровью из-под шлемофона, и не может сдержать стон – не столько от боли, сколько от отчаяния, обнаружив себя в положении, самом позорном для парашютиста. То есть когда купол парашюта запутался в кроне высокой сосны, а парашютист беспомощно болтается в стропах, как вытасенная в бредне из воды рыба. Обиднее всего – вися на дереве, видеть рядом достаточно большую и ровную лесную полянку, куда приземлиться не составило бы труда находящемуся в сознании человеку.

Белесый густой туман стелется по земле, ограничивая видимость несколькими метрами, но это ненадолго. Солнце поднялось высоко, и не позже, чем через полчаса, туман рассеется, немцы-поисковики спустят с поводков собак и тогда – всё...

Алевтина раскачивается в стропах. Ей удается освободиться от тяжелых батарей, и они с треском ломают ветви и гулко бьются о покрытую пожелтевшей хвоей землю. Алевтина на несколько секунд замирает, настороженно оглядываясь по сторонам. Потом достает из-за пояса десантный нож и начинает резать стропы.

– Помочь? – слышит она спокойный голос снизу, вздрагивает от неожиданности, и нож падает на землю рядом с батареями.

Каким-то чудом Алевтине удается выхватить из кобуры пистолет, но она не стреляет. Потому что видит внизу красивого парня лет двадцати пяти в бескозырке и распахнутой настежь прожженной телогрейке поверх тельняшки. Парень, имея за плечом немецкий карабин, держит руки поднятыми вверх и смотрит на Алевтину огромными, синими-пресиними глазами, красивее которых на своем девичьем веку она не видела.

– Наши? – неуверенно спрашивает она, – Партизаны?

– Наши, наши, – успокаивает ее парень, наклоняется и медленно поднимает нож. – Немцы лес прочесывают, скоро здесь будут. Матерущие, специально обученные, из ягдкоманды. Одной тебе от них не уйти...

Алевтина улыбается дрожащими губами, убирает пистолет в кобуру, потом тихонько плачет. Синеглазый снимает карабин, пристраивает его к дереву, надевает сверху на ствол бескозырку и, как пират, с ножом в зубах сноровисто влезает на дерево, помогает Алевтине выпутаться из строп парашюта и спуститься на землю.

– А теперь делаем ноги, боевая подруга! Они у тебя как, целые? И насчет пробежаться возражений, надеюсь, нет?

– Ноги целые, возражений нет, – говорит Алевтина, готовая следовать за спасителем-красавцем хоть на край света.

Спаситель перекидывает ремень карабина на шею, подхватывает одной рукой батареи, а другой хватает за руку Алевтину.

– Тогда – полундра! Главное, до болота добраться, здесь километра полтора. Собак со следа собьем, а без них фрицы в болото не сунутся – там грязно и пиявки!

– Пиявки?! – притворно ужасается Алевтина, сама себе удивляясь за неуместное кокетство и какое-то противоестественное веселье.

Они бегут через лес, продираясь сквозь чащобу, переползая осклизлые стволы бурелома, спускаясь и выкарабкиваясь через поросшие кустами малины и тальником овраги, и если бы не крепкая дружеская рука, Алевтина не прошла бы и десятой части пройденного пути. Доверие к спасителю, как и желание бездумно подчиняться его воле, у нее только нарастает. К тому же собачий брех остается за спиной и слышится гораздо слабее.

Синеглазый заставляя ее свернуть в очередной овраг, где они метров сто идут по колено в студенном ручье.

– Не переживай, – утешает Синеглазый Алевтину. – Сейчас на болото выйдем, там вода теплая – согреемся!

Он помогает девушке подняться по склону овражка, отводит рукой нависшие кусты и вдруг резко толкает Алевтину вперед...

...на опушку леса рядом с грунтовой дорогой, где, оперевшись спиной на березовый ствол, дремлет немецкий солдат-поводырь, а лежащая рядом с ним овчарка дергает ушами, напрягается и уже не отводит взгляда от Алевтины, готовая броситься на нее по первому приказу. Здесь же три полиция грузят на телегу тело в знакомом Алевтине маскхалате. Еще два лежащих на траве тела в маскхалатах она успевает заметить, перед тем, как недоуменно оглянуться на провожатого и получить от него сильнейший удар прикладом карабина в поясницу.

– Везунчик ты, Генка, – слышит связанная и брошенная на телегу рядом с телами мертвых десантников Алевтина, как завидует Синеглазому один из полицаев. – Опять козырного туза из колоды вытянул, пока мы с трупаками по всему лесу корячились!

– А дураков работа любит! – смеется Синеглазый, сидя на земле и выливая из снятого сапога воду.

– Да не, это потому, что она баба, – рассудительно говорит второй полицай. – Бабы всегда на таких ведутся, как густёра на мормышку. Особенно, когда при тельняшке и в бескозырке.

– Моряк с печки бряк, – с прибалтийским акцентом ворчит третий, усевшись на передок телеги и беря вожжи в руки. – Из тех, которые плавают и не тонут.

– Вы мне, хлопцы, лучше скажите, куда того раненного дели, при котором рация была? – спрашивает синеглазый Генка, выливая воду из второго сапога.

– Его фельдфебель с Гюнтером на мотоцикле гауптману показывать увезли. Пока не сдох и чтобы успеть сказать, если сдохнет, что это мы, а не они виноваты.

– Жалко, сапоги у него были получше, чем у этого, – Генка стаскивает сапоги с одного из мертвых на телеге и тут же переобувается, не брезгуя снятыми с трупа портянками. – И на черта вы, спрашивается, с ними корячились? Проще было здесь закопать. А еще проще вообще не закапывать!

– В комендатура приказ есть доставить, – оправдывается возница, пожатием плеч выражая полное согласие с Генкиными словами.

– Тогда по пути нас с мамзелью до гауптмана подбросишь, яволь? – не дожидаясь ответа, Генка запрыгивает на телегу и садится на рогожу поверх покойников напротив связанной Алевтины. – Готовьте могарыч, хлопцы. Если бы не я, вам бы точно от Хоппе по первое число досталось. Умоются Гюнтер с фельдфебелем – у них одна рация и полумертвый бугай, который не радист вовсе. Радистка – вот она, живая, здоровехонькая!

– Iäks, vana poigima! – кричит по-эстонски возница, щелкает вожжами по крупу лошади, и телега трогается.

Генка, заглядывая в лицо Алевтины бездонно синими глазами, насмешливо напевает:

Ты, моряк, красивый сам собою,
Тебе от роду двадцать лет!
Полюби меня ты все душою,
Что ты скажешь мне в ответ?

– и вдруг с криком: – Перестань так смотреть, курва московская! – с широкого замаха бьет ее кулаком по лицу...

С тихим скрипом приоткрывается дверь – совсем на чуть-чуть, но этого достаточно для худенькой десятилетней девочки, чтобы просочиться в комнату. Вид у девочки самый что ни на есть заговорщицкий и хитрый. Какое-то время она стоит, прислушиваясь к шуму в коридоре, потом оборачивается и вздрагивает, увидев Алевтину.

– Ой! А вы кто и что здесь делаете?

– Я? Я новый воспитатель и учительница истории. Алевтина Леонтьевна меня зовут. Что здесь делаю? Жить буду!

– А-а... Ну тогда...

– А теперь скажи, прелестное дитя, как тебя зовут и что здесь делаешь ты? – строгим воспитательским голосом спрашивает Алевтина.

– Я Томочка Томилина, из четвертого класса.

– Из интерната или детдомовская?

– Из интерната. Я дома живу. С папой и мамой. Меня каждое утро дядя Сёма сюда привозит, а после уроков отвозит домой.

– Дядя Сёма?

– Папин шофер, – сказав про маму, папу и про папиного шофера, Томочка чувствует себя гораздо увереннее. – Можно я ее заберу? – говорит она про куклу тоном избалованного ребенка, которому никто никогда и ни в чем не отказывал.

– Значит, это твоя кукла? Ты за ней пришла?

– Моя, – быстро отвечает Томочка. – Я ее нашла!

– И прятала здесь, чтобы снова не потерять? Обычно девочки кукол не прячут.

– Это я чтобы Горелый не отнял. Вы скажите ему, пусть не пристаёт. Мальчишки в куклы не играют!

– Горелый – это ты про Колю Титаренкова?

– Ну да. У нас все его Горелым зовут. Или Горелом. Такой большой, а глупый – поэтому его в четвертый класс перевели. А он все равно учительницу не слушает, все в одну точку глядит. Будто спит. Если не толкнуть, не пошевелится. А вчера, когда Зоя Ивановна опыт показывала, вдруг ка-а-ак подскочит, как схватит спиртовку с учительского стола – и в стенку изо всей силы! Вале Семашкиной осколками чуть руки не порезало. А на той неделе он...

– Я с ним поговорю, – перебивает Томочку Алевтина. – Но и обзывать нехорошо. Коля не виноват, что у него лицо обожжено и что у него родителей нет. И вам, девочкам, надо научиться так себя вести, чтобы мальчишки не шалили.

– Вы не понимаете, Алевтина Леонтьевна. Горел... Титаренков не шалит. Моя мама сразу так подумала, когда я ей про тот случай рассказала!

– Про какой случай?

– Как на прошлой неделе перед арифметикой на перемене Горе... Титаренков то есть, ко мне подошел, за косички меня взял и ка-а-ак закричит: «Отдай!» Я так испугалась!

– Не поняла?

– Это он не про косички – про куклу. Он потому ко мне и подошел, что куклу увидел. Я нечаянно портфель раскрыла, вот он и увидел.

– Мальчишки часто дергают девочек за косички.

– Он не как все. Он же дурачок, поэтому всем девочкам страшно, когда он рядом. И противно, когда мальчишки его дразнят и платок с головы сдергивают.

– Сдергивают? Зачем?

– Чтобы нас напугать. Вы лицо Горе... Титаренкова видели? – Томочка морщится от отвращения.

– Это очень некрасиво – смеяться над человеческими увечьями, – строго говорит Алевтина и прячет левую руку за спину.

– Это мальчишки смеются, а нам противно.

– А мальчишкам вашим не страшно дразниться? Сама же говорила, Коля гораздо старше вас.

– Не-ка! Горе... Коля Титаренков, когда в него зажженной спичкой кинут, сразу на коленки падает и голову руками зажимает. Плачет, как маленький: «Калипкакалипка...» Вы с ним обязательно поговорите, пусть не пристаёт. А то я в него тоже спичкой кину!

– Хорошо. Я с ним обязательно поговорю.

Томочка берет в руки куклу и отступает к двери.

– Тогда я пойду?

– Иди.

Томочка убегает.

9

Во дворе напротив хозяйственного флигеля Тулайкин с Иванычем разгружают полуторку – принимают из кузова от шофера ящики, бережно с двух сторон подхватывают сорокалитровую флягу и складывают все на крыльцо.

Рядом с машиной стоят двое – тетка средних лет в овчинном солдатском тулупе с типичной внешностью и выражением лица лагерной надзирательницы и вертлявый подросток в черной ватной фуфайке и такой же черной шапке. Зековская метка с фуфайки спорота, но внешний вид и манеры этого персонажа таковы, что без сопровождения один он мог бы оставаться на улице лишь до первого милицейского патруля.

– Пацан, ты не из дворян будешь? – говорит ему Иваныч, проходя мимо с очередным ящиком.

– Это ты так на меня ругаешься, дяденька? – ослабившись, отвечает пацан. – Под воровской мастью что дворянин, что пролетарий – все без разницы: деклассированный элемент!

– Во как? – Иваныч ставит ящик на крыльцо. – Грамотный!

– Наглый он! – бросает на ходу Тулайкин, замысловато приседая и наклоняясь, чтобы поставить рядом с ящиком Иваныча свой, который он как-то умудрился донести одной рукой.

– А может, и из дворян – я ж папашку своего знать не знаю! Только вам-то какой интерес, дяденьки? – кривляется подросток.

– Стоишь руки в брюки, как фон-барон. Помог бы.

– Э, нетушки! У вас тут усушка-утруска, а вдруг ревизия? На меня недосдачу повесите? Мол, Комар ящики таскал – он и слямзил?

– Видите? – говорит Тулайкин лагерной тетке. – Забирайте обратно гопника!

– Не положено. Он досрочно-освобожденный, – отвечает тетка и протягивает Тулайкину казенный бланк. – Так что распишитесь, Василий Петрович, и забирайте гопника сами.

Тулайкин вздыхает и неловко левой рукой подписывается.

– Прощай, Ахтаров! Вставай на путь истинный, – говорит тетка подростку, кивает Тулайкину и забирается в кабину.

– Я постараюсь, гражданин Анфиса Антоновна! – юродствует Ахтаров, подчеркнуто подобострастно вытянув вперед шею.

Но вслед тронувшейся машине он, покосившись на Тулайкина и Иваныча, вдруг резко хлопает ладонью по предплечью согнутой в локте правой руки и, отхаркнув, смачно сплевывает на снег.

Иваныч, чертыхнувшись, поднимает ящик с крыльца и уходит с ним во флигель.

Тулайкин, прищурившись, несколько секунд смотрит на Ахтарова. После чего кивает ему на дверь:

– Заходи уже... насекомое!

Ахтаров-Комар, по-блатному вихляя бедрами и распевая во все горло:

– Подайте, подайте копеечку,

Один я на свете, один,

И Льва Николаич Толстова

Я нез-коннорожденный сын!

Мой папа – великий писатель.

Лев Николаич Тостой,

Не ел он ни рыбу, ни мясо,

Ходил по поляне босой... – поднимается на крыльцо.

10

На границе тучи ходят хмуро,
Край суровый тишиной объят.
У высоких берегов Амура
Часовые родины стоят...

В своем кабинете директор Тулайкин в полном одиночестве занимается очень глупым и безнадежным делом – он пытается играть на аккордеоне. Для этого ему приходится поставить правую ногу на стул, углом опереть на нее перевернутый инструмент, придерживать его правой култей и подбородком и как-то умудриться растягивать меха движениями локтя левой руки с помощью ремня, а пальцами нажимать на перевернутые клавиши. Какие-то звуки из аккордеона ему извлечь удастся, но музыкальными назвать их можно разве что в виде комплимента. Со стороны Тулайкин выглядит довольно смешным и малоавторитетным, но кабинет пуст, никто не видит ни его жалких потуг укротить инструмент, ни слез на его глазах...

На несколько минут он делает передышку, чтобы выпрямить спину, потрясти в воздухе затекшей от напряжения култей, вытереть глаза и...

...вспомнить себя, красивого и неувечного, в гражданском пиджаке и с набриолиненными волосами, на сцене поселкового клуба, лихо аккомпанирующего женскому хору:

Там врагу заслон поставлен прочный,
Там стоит, отважен и силен,
У границ земли дальневосточной
Броневого ударный батальон!

Он едва успевает вернуть на лицо привычное для окружающих выражение веселого оптимизма, когда в кабинет входит Алевтина.

– Познакомилась с Ахтаровым? Если жалобы есть – излагай сразу.

– Познакомилась, – говорит Алевтина. – Глаза у него...

– Красивые? Что меня больше всего поражает – у всех женщин от мала до велика реакция на поганца одинаковая: «Ах, какой ангелочек! Какие у мальчика серо-голубые глаза!»

– У меня реакция на красивые глаза другая, – сухо говорит Алевтина и, чтобы не объяснять почему, переходит на официальный тон: – В общем, товарищ директор, мальчик, конечно, трудный, запущенный, но, как мне кажется, не совсем безнадежный. Строгость к таким требуется, но и по-доброму с ними надо.

– Ага, – кивает Тулайкин. – На усиленное питание мальчика поставить, сказочки ему на ночь читать, по головке гладить, пятки чесать...

– Не смейся, Вася! Мальчику учиться надо. И книжки хорошие читать – сразу видно, он способный. Я у тебя где-то «Как закалялась сталь» Островского видела...

– Не дам!

– Жмот!

– Мне эту книгу в госпитале хороший человек подарил. А если бы и не подарок, все равно бы не дал. Такой вот я жмотюга!

– Ладно, у Станиславы Сигузмондовны попрошу, она сейчас как раз Ахтарову учебники по моей просьбе подбирает.

Тулайкин вдруг встает и торжественно пожимает оторопевшей от неожиданности Алевтине руку поверх протеза своей здоровой рукой.

– Что это было, Василий? – недоумевает Алевтина.

– А это я поздравил тебя с началом трудовой деятельности на руководимом мною объекте! Кстати, Станислава Сигизмундовна не говорила тебе, что ты приглашена на традиционный ужин?

– А кто меня пригласил? И куда?

– Отвечаю по порядку: во-первых, пригласил тебя от лица коллектива я, будучи коллективом поддержанным целиком и полностью. Во-вторых, торжественный ужин мы устраиваем в столовой в первое воскресенье месяца, совмещая с педсоветом, и у тебя есть еще почти два дня, чтобы подготовиться... Ну а от себя лично я приглашаю тебя на обед. Прямо сейчас.

– Но ты говорил...

– А я никогда от своих слов не отказываюсь! Иваныч велел. Его Митрофановна картошки наварила, хлеб у меня еще есть, да и сухпаем сегодняшний обед-ужин в столовой возьму. Идем уже! Или ты, товарищ Донатович, не тот самый соловей?

– Соловей?

– Ага. Которого баснями не кормят.

– Уговорил, товарищ Вася, – смеется Алевтина. – Только я сначала в Ленинскую комнату зайду, Ахтарову учебники передам.

– Не задерживайся. Ахтаров здешние порядки знает, сам устроится.

11

Ах ты зона, зона – три ряда колючки!
А за зоной роща – там меня зовут;
А по небу синему золотые тучки
В сторону родную чередой плывут!

Посреди Ленинской комнаты с традиционным гипсовым бюстом Ленина на задрапированном кумачом постаменте, с агитационными лозунгами, картой боевых действий и известным плакатом с Марксом-Энгельсом-Лениным-Сталиным в профиль на стене, полулежа, вытянув ноги, раскачивается на стуле досрочно освобожденный Петр Семенович Ахтаров, шестнадцати без малого лет, по кличке Комар.

В комнату вбегают Чимба с Вованом.

– Он? – шепотом спрашивает Чимба.

– Он, – шепотом отвечает Вован.

– Это ты на кого онкаешь, фраерок? – громко говорит Комар.

– Извини, Комар, мы тут с Чимбой... Короче, прими нашенское со всем почтением и уважением!

– Пустым базаром авторитету уважение не выказывают!

Чимба суетливо достает из карманов пачку папирос и газетный сверток и протягивает их Ахтарову.

– Мы порядки знаем, Комар. На вот, прими! Курево и пошамать немного.

– Курево – в самую масть! – Комар обрадовано выхватывает у Чимбы из рук сверток и папиросы. – И пожрать сгодится. В натуре угодили, сявки. Если что... короче, вы поняли! Но если чего скажу – в лепешку расшибись, а сделай. Так в зоне у паханов заведено. Ты, – Комар тычет пальцем в Чимбу, – позаботишься, чтобы у старшака шамовка завсегда была. А ты... – Комар сплевывает на пол и тянет время, не зная, собственно, что ему надо от Вована. – Для начала прикурить дай!

Вован виновато оправдывается:

– Извини, Комар, но спички у нас Иваныч...

– Мне до лампочки, есть у тебя дрова, или в пролете. Я сказал: прикурить дай!

– Да где ж я спич... дрова то есть возьму?

– Найди. Считаю до пяти. Время пошло – уже четыре. Бегом!!!

Вован торопливо убегает.

– А ты пока расклад здешний распиши, – говорит Комар Чимбе. – Для начала про биксу однурукую, которая давеча мне про дисциплину трендела, – передразнивает: – «Посиди туточки, мальчик, пока я тебе учебники подберу!» Мальчика нашла, мля!

– Воспитуха новая. И, похоже, истории нас учить будет.

Вбегает радостный Вован, погромыхивая спичечным коробком.

– Нашел! На первом этаже в дежурке стырил!

– Молоток! Со вчерашнего вечера не шабил, – Комар забирает у Вована спички и закуривает. – Быстро управился – хабарик оставлю!

Входит Алевтина со стопкой книг в руках.

Комар вздрагивает и прячет руку с папиросой за спину.

– Достала я тебе, Ахтаров, учебники. Полный боекомплект. Потрепанные немного, но это ничего... – Алевтина дергает носом. – Вообще-то детям курить вредно и несовершеннолетним не положено. Тем более в Ленинской комнате.

Комар смотрит на нее наглыми серо-голубыми глазами, демонстративно затягивается и, выпускает дым, сложив губы трубочкой и щелкая себя по надутой щеке, отчего из дыма получаются красивые колечки.

– Скажи еще чё-нить смешное, тетенька, а мы посмеемся! – ёрничает он, красуясь перед «съявками».

– Как ты смеешь так со старшими разговаривать?!

– А что ты мне сделаешь, овца увечная?

– Я Василя Петровича позову! – говорит Алевтина дрогнувшим голосом.

Комар дурачится, изображая испуг:

– Извините! Простите! Я больше не буду! – и «затапывает» окурочек в плевочку на ладони.

Алевтина, успокаивая себя, глубоко вздыхает.

– На подоконнике стопка старых газет. Учебники обернешь аккуратно – поверю. Отсюда ни шагу, пока я за тобой не приду, – говорит она ледяным командирским голосом, которому нельзя не подчиниться.

И уходит, явно сомневаясь, надо ли ей уходить.

– Думаете, испугался? – говорит Комар Чимбе и Вовану. – Тулайкину один разок по телефону стукануть, и кум меня мигом на поруки возьмет. Зоны я не боюсь, зона для меня дом родной, но спалиться на ерунде – шиш вам! Если загреметь, то с музыкой. Чтобы урки уважали. Ты бакланил, бикса здесь за новенькую? – спрашивает он Чимбу.

– С утра только нарисовалась!

– Прописать бы надо... Вместе прописывать будем. Или кто бздит?

– Да ты чё, Комар! – вскрикивает Вован.

Чимба молчит, но молчание, как известно, – знак согласия...

– Договорились. А пока буквари оберните – слышали, что бикса сказала?

Чимба и Вован, как и положено «съявкам», усердно шестерят с учебниками. Комар разворачивает светрочек. И все замирают, услышав шум в коридоре. Комар, правда, перед тем, как замереть, успеваешь поменять позу на стуле в более приличную и скромную.

С криком:

– Спасите! Мама! – вбегает испуганная Томочка.

Следом за ней в Ленинскую комнату входит Титаренков-Горел.

– Не трогай меня, урод! Я маме скажу!

Комар, расслабившись и снова вытянув ноги, с интересом наблюдает за происходящим.

– Отдай! – глухо говорит Горел.

– Не отдам! Сейчас Алевтина Леонтьевна придет и тебе попадет!

– Отдай. Это не твое.

– Это моя кукла. Я ее нашла!

Комар встает.

– Что за кипиш на болоте, что за шухер на бану?

Зэковские словечки и обороты он втыкает к месту и не к месту, как это свойственно не наигравшимся еще в блатную романтику подросткам. Или как лишенному какого бы то ни было авторитета в зоне ничтожеству перед тем, кто слабее его.

Горел не обращает на Комара внимания и смотрит только на Томочку.

– Отдай!

– Не отдам! – кричит Томочка и прячется за спину Комара. – Скажи ему, чтобы не приставал!

– В натуре, чувак, на кой тебе кукла? Ты хоть и урод, но не баба. Или баба?

Вован с Чимбой подобострастно смеются.

– Липка просила никому Олечку не отдавать, – глухо говорит Горел.

– Никакая это не Олечка! Это Нюрочка! Я ее нашла!

– Это Липкина кукла. Отдай!

Горел пытается обойти Комара. Комар отступает в сторону, делает ему подсечку и резко двумя руками толкает в грудь. Горел падает.

– Так тебе и надо! – говорит Томочка не совсем уверенно и обращается к Комару: – Скажи ему, чтобы куколку не отнимал. Мальчишки в куклы не играют!

– Доброе дело почему бы не сделать? Только... У нас на добро добром отвечать положено...

Горел поднимается.

– Зачем ты меня толкнул? Ты не немец, я тебе не делал плохо.

Вован, подмигнув Комару, заходит сзади Горела и опускается на корточки.

– Я больше так не буду! – Комар якобы примирительно разводит руками и бьет Горела в грудь, отчего тот опрокидывается на пол через спину Вована.

– Ты сказал: «Я больше не буду!» – говорит удивленный человеческой подлостью Горел.

– Ну да. Извини. Я нечаянно, – говорит Комар и расслабленной кистью наотмашь бьет Горела по лицу, отчего повязка слетает и видно, как действительно страшно обожжено это лицо.

Вован и Чимба испуганно отшатываются, Томочка, уронив куклу, снова прячется за спину Комара.

– Так ему и надо! Не будет девочек обижать!

Горел поправляет повязку.

– Ты хочешь, чтобы я тебя убил? – в его ровным и спокойным голосе нет ни одной угрожающей нотки, но Комар вздрагивает.

Впрочем, он быстро берет себя в руки.

– Ой, как страшно! – кривляется он и канючит: – Дяденька, не убивай! Тетеньки, помогите!

Вован дергает его за плечо.

– Слышь, Комар, дай спички – хохму покажу!

Комар, не глядя, протягивает ему коробок.

– Фокус-покус! – кричит Вован и зажигает спичку.

Горел испуганно отшатывается и закрывает голову руками.

– Не надо!!!

– А вот тебе! Н-на! Н-на! – Вован зажигает спички одну за другой и кидает в Горела.

Горел пятится, скукоживается комочком, закрывает руками голову, тихо раскачивается и, всхлипывая, бормочет: «Липка-Липка-Липка-Липка...»

– Фокус удался! Ну-ка я попробую! – Комар забирает у Вована спички, зажигает сразу несколько и подносит к голове Горела.

– Не надо! Не надо огонь! Здесь нет немцев! – кричит Горел, еще больше скукоживаясь, и плачет навзрыд. – Липкалипкалипка-а-ааа!

– Клёво! – ухмыляется Комар. – В каком загоне этот псих кантуется?

Вован пожимает плечами и на вопрос «старшака» приходится отвечать более информированному Чимбе:

– С тремя мелкими в спальне на нашем этаже.

– Мелких выгнать. Мою лежку туда, и вы оба туда же. Будем из уroda дрессированную обезьянку делать, – наклонившись, Комар передразнивает Горела: – Липкалипкалипка-аааа! – после чего, отхаркнув, смачно сплевывает на пол рядом с ним.

Горел скрючивается на полу в позе эмбриона, плач и бормотание его становятся все надрывнее и надрывнее.

– Тулайкин не разрешит, – сомневается Чимба.

– Не разрешит, когда узнает. А пока он, Тулайкин ваш, ничего такого не запрещал...
Понял, урод? – Комар пинает Горела.

– Не надо... больше, – дрогнувшим голосом говорит Томочка.

– Конечно, не надо, – соглашается Комар и говорит с Томочкой с потугами на снисходительный тон, которым, как он думает, уместно разговаривать с маленькими наивными девочками. – А мы больше и не будем. Но и он теперь не станет девочек обижать. Тебе его жалко, да?

– Немножко.

– Немножко – это нормально. Множко уродов жалеть не надо. А ведь он урод, сама говорила.

– Говорила.

– Ты, если тебя кто-нибудь еще обидит, мне скажи. Мы всегда за слабых заступаемся. Эх, за нас бы кто заступился! – Комар сокрушенно вздыхает и – после короткой паузы: – Ты, девочка, не из детдомовских?

– Нет. Я с папой и мамой живу.

Вован что-то нашептывает Комару на ухо.

– Даже так?! – удивляется Комар.

В глазах его появляется странный блеск.

– Скажи, девочка, а твой папочка какие папироски курит? А мамочка нарядно одевается?

– Видел я раз еёнюю мамашу. Шмотки по высшему разряду. Шуба на песке, бусы, сережки из рыжевья с камушками...

– Ша, сява, не с тобой базар! – обрывает Вована Комар, но с Томочкой продолжает говорить ласково, чуть ли не сюсюкая: – А вот у Вована с Чимбой папы-мамы нет. А ирисок, сахарку им ой как хочется! Сечёшь, девочка? Тебя как зовут?

– Томочка.

– Вот я и говорю: врубаешься, Томочка? Мне лично ирисок не надо, но от папиросок я бы не отказался.

– Я у мамы попрошу.

– А вот маме ничего не говори. А то получится, будто ты ябеда. А с ябедами мы не водимся. Ты так, потихоньку, чтобы мама и папа не заметили.

– Я попробую.

– Попробуй. Прямо сейчас иди и попробуй. А то мамочка дома ждет, волнуется...

– До свиданья! – вежливо прощается Томочка и уходит, не переставая оглядываться даже тогда, когда Комар закрывает за ней дверь.

– Папахен у Томочки в натуре большая шишка, – говорит Вован. – Связываться с такими...

Комар пренебрежительно цокает языком.

– Куража больше. Томочку не обижать, наоборот. Промежду делом, поспрашивайте, где живет, когда родителей дома не бывает, где шмотье хранится, где камешки с рыжевьем и денежки. Хотя нет, не лезьте, я сам.

– Думаешь, хату обнести? – подает голос Чимба. Он бы лучше промолчал, но перспектива стать сообщником преступления его не то чтобы пугает, но...

– А почему нет? Не ссы, вас на дело подписывать не буду. И сам дуриком не полезу. Я при случае фартовым маляву кину, а они решат, обнести фатеру или нет. Как бы карта ни легла, фартовые мне припомнят, на дело возьмут или долю малую за наводку отстегнут. Только об этом – ша!

– Да ты чё, Комар! – обижается Вован.

– Ладно. Сваливать пора. Шконку выбрать, мелкоту уважению поучить...

– А учебники? – спрашивает Чимба.

– Оставь, бикса сама обернет. И сама меня найдет, чтобы отдать!

– Оп-паньки! – Вован нагибается и поднимает с пола оставленную Томочкой куклу. – Томочка куклу забыла! Догнать?

– Нафиг, – отмахивается Комар. – Если бы урод не приставал, нужна ей та кукла. Дома, поди, игрушек навалом.

– Ага, не то, что эта рвань – закопченная, бензином воняет! – Вован брезгливо морщится и бросает куклу на пол.

– Короче, сваливаем, – Комар вихлястой своей походочкой шагает к дверям, но вдруг возвращается и останавливается перед Горелом. – Живи пока, убогий! – ухмыляясь, он с садистским наслаждением дает Горелу щелчка-пиявку и только после этого выходит из Ленинской комнаты.

Вован, подражая Комару, отвечает бьющемуся в затихающих конвульсиях Горелу еще одну пиявку. Чимба собирается проделать то же самое, но в последний момент передумывает.

Горел, оставшись один, подползает к брошенной кукле, берет ее в руки, раскачивается и, делая над собой огромное усилие, хриплым голосом пытается петь, хотя он уже почти забыл, как это делается:

Тихо... стало... в комнате...
за окном... темно...
Ну и моей... девочке...
спать пора... давно...

...и ослепительной вспышкой в его затуманенном сознании всплывает в мельчайших подробностях картинка-воспоминание, никак не связанная ни с тем, что было до, ни с тем, что случится после.

Зимний вечер в деревенской горнице... Красивая женщина в наброшенном на плечи платке, где на зеленом фоне в орнамент вплетаются белые и красные розы, качает детскую кроватку и поет ласковым *материнским* голосом:

Едва слышно ходики на стене стучат,
Мама-зайка в норке баюкает зайчат.
Звездочки мерцают, не жалея сил,
Словно кто-то бусинки в небо уронил.
За окном так холодно, дождик проливной.
Ты не бойся, деточка – мамочка с тобой.

И еще Горел видит себя – десятилетнего Кольку Титаренкова, который, подложив ладошку под голову, смотрит на поющую женщину с кровати напротив, и постепенно засыпает с улыбкой на счастливом спокойном лице. Потому что снится ему будут хорошие сны. В отличие от кошмаров, которые не оставят Горела до конца его недолгой жизни. Недолгой, потому что слишком больно жить, когда каждую ночь снятся кошмары.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.